

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ВАРЛАМОВ

главный редактор журнала «Литературная учеба», доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы XX–XXI веков филологического факультета, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Москва, Российская Федерация)
glavred@lych.ru

СТОИЛО ЛИ РАСПУГИВАТЬ ПТИЦ, ИЛИ ПРИШВИН В КАРЕЛИИ¹

В статье рассматривается «северный опыт» Михаила Пришвина, отраженный в его биографии, дневнике и художественной прозе. Прослеживается эволюция пришвинского пути в контексте трагических событий русской истории первой половины XX века.

Ключевые слова: Пришвин, Карелия, Соловки, православие, Беломорканал, ГУЛАГ, В. Распутин

Свою первую значительную художественную книгу очерков Выгорецкого края «В краю непуганых птиц» М. М. Пришвин написал в 1906 году. «Я выбрал себе медленный, какой-то тележный этнографический путь к литературе, смешной для блестящего таланта», – вспоминал позднее писатель. Он объездит почти всю страну и напишет о Дальнем Востоке, Средней Азии, Кавказе, Крыме, Русской равнине так, словно в этих краях много лет прожил – но сердце его на всегда будет отдано Русскому Северу.

О своей первой книге Пришвин писал: «Объявив войну чужой мысли в себе, я попробовал писать повести, но они мне не дались... мешали рассуждения. <...> Пропутешествовать куданибудь и просто описать виденное – вот как я решил эту задачу – отдался от “мысли”. Поеzdка (всего на 1 месяц!) в Олонецкую губернию блестящим образом разрешила мою задачу: я написал просто виденное, и вышла книга “В краю непуганых птиц”, за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя себе всю глубину моего невежества в этой науке. Только один этнограф Олонецкого края Воронов, когда я читал свою книгу в Географическом обществе, сказал мне: “Я вам завидую, я всю жизнь изучал родной мне Олонецкий край и не мог написать и не могу.”

– Почему? – спросил я.

Он сказал:

– Вы сердцем постигаете и пишете, а я не могу”» [11; 157].

Пришвин близко к сердцу принял увиденное на Севере и наложил на это искреннее и глубокое впечатление ту образность, которая существовала в его растревоженной поэтической душе. «В краю непуганых птиц» – это бесхитростный, немного сентиментальный (Р. В. Иванов-Разумник, напротив, уверял, что повесть написана с «намеренной плохо удающейся суховатостью» [2; 29]) в духе Руссо очерк северной жизни России начала минувшего века. Путь повествователя прошел по тем местам, где во

времена раскола возникло крупное старообрядческое поселение Выгореция, в середине девятнадцатого века разогнанное Николаем Первым. Но было в этой книге что-то, выбор материала, язык, интонация, бережная позиция рассказчика, сумевшего найти такое положение, чтобы не отстраниться вовсе и не заслонить собою описанный материал, – было что-то, приближавшее эту книгу к высокой литературе. Очерки Выговского края – если не считать маленькой главки «На Угоре», написанной вместо предисловия, – начинаются, как это ни странно, с Берлина, где после рабочего дня и по выходным отводят душу на маленьких клочках земли бедные жители большого города. Именно от такой дачной жизни, неважно, берлинской или петербургской, спасается, бежит повествователь, и этот зачин имеет и символическое значение, ибо знаменует собой противопоставление мира города и природы, культуры и первозданности, на утверждении и преодолении которого вырастет вся пришвинская философия жизни.

На пароходе через Ладожское и Онежское озера он добирается до Петрозаводска («мне почему-то казалось, что чистенький городок не живет, а тихо дремлет»²), а оттуда до Повенца («Повенец – всему миру конец»), по пути описывая публику – священника, старичка-полковника, женщину с маленькой девочкой на руках. Пока что это еще очень похоже на С. В. Максимова, может быть, немножко живее и одновременно неувереннее, однако те сорок семь лет, что отделяют «Год на Севере» от пришвинских очерков, не проходят бесследно. Вот сельский батюшка посмеивается над настоятелем Климентского монастыря, у которого тридцать шесть коров и двадцать монахов, вот появляется мальчик, которого родители за чудесное выздоровление по обету посыпают в Соловецкий монастырь, юноша отправляется с большим религиозным подъемом и... остывает к вере. Традиционные формы русской жизни приходили в упадок, не было прежнего благоговения, и пытливые интеллигентные умы себе на

беду искали новые формы, сосредотачивались на недостатках, темных сторонах национальной жизни и не ценили ее устойчивых светлых сторон. В отказе от православия и поиске новой религии и состояла интрига дореволюционной жизни писателя, и одно лишь его признание, что «пониманию религии русского народа» он учился у Мережковского и Гиппиус [9; 30], много чего стоит и объясняет. Сильнее всего эта тяга к декадентству сказалась в третьей из пришвинских книг «У стен града невидимого», целиком посвященной поискам иной, лучшей веры, желанию постичь сектантскую Русь, собирающуюся возле ушедшего под воду светлого града Китежа. А пока путь его лежал на полночь. Из Повенца, где для всех мир заканчивался, а для Пришвина только начинался, писатель отправился к Масельгскому хребту, через который проходит водораздел между Балтийским и Белым морями. Так же часто, как Пришвину на его пути озера, читателю встречаются в тексте географические описания, очень точные, емкие, недаром через несколько лет после опубликования книги Пришвин будет принят в Географическое общество, а советский географ, младший современник писателя, профессор Ю. Саушкин признается, что он и его коллеги называли Пришвина «писателем-географом» – «главным образом потому, что он необычайно тонко и верно понимает, чувствует и изображает географию нашей страны» [6; Т. 2; 789]. И действительно, пришвинские читатели – не гуманитарии, не филологи, не эстеты, а весьма далекие от экскурсов в сектоведение и размышлений о русской интеллигенции Серебряного века люди, ценившие в Пришвине глубочайшее знание и чувство природы, и именно к ним он вернется через много лет своих литературных похождений в стане засмысленных интеллигентов и на них сделает свою писательскую ставку («Сколько под моим влиянием выросло в нашей стране отличных молодых людей: капитанов, исследователей, путешественников, геологов, охотников» [6; Т. 5; 379]). Он внимателен к подробностям пейзажа, местным словечкам, которые выделяет курсивом и объясняет, к названиям ветров и с удовольствием их перечисляет. Автор чувствует себя очень свободным в этом повествовании и ничего не стесняется – книга как бы пишет сама себя – верный признак всякого истинно талантливого произведения. Пришвин только кое-где подправляет ее течение, в ней совершенно нет сделанности, вымученности, искусственности и уж тем более журнализа – при очевидной заданности темы Пришвин выступает как художник. Когда ему требуется, он вставляет в текст довольно длинные цитаты современных ученых, приводит народные стихи, описывает свадебные и похоронные обряды, много времени уделяет рыболовецкому промыслу, вешнему, осеннему и зимнему, бурлачеству,

рубке леса и лесосплаву, листоброснице (неведомой жителям средней полосы поре, напоминающей сенокос, с той лишь разницей, что женщины собирают березовые листья и зимой кормят ими коров), пахоте, упоминает вскользь строительство Онежско-Беломорского канала – все это зерна будущих пришвинских книг... Он удивляется тому, как существуют в крестьянском быту языческие и христианские обычаи, и христианские кажутся ему вынужденной уступкой, а настоящие властители этого края – колдуны, к которым его влечет куда больше, чем к православным монахам. Они управляют миром, назначают, кому жить, кому умирать, кому сколько поймать рыбы и убить зверя, они принимают разный облик. Вот колдун поймал водяного и за то, что не бросил озерного царя в печку, потребовал для себя столько рыбы, что разбогател. А в «Охоте за счастьем» Пришвин припоминает, как вступил с одним из колдунов в состязание, кто кого перепьет, и когда противник упал без чувств, вытащил у него заговор, переписал и рухнул рядом. Он был внимателен не только к природе – в «Краю» немало ярких образов людей, и один из самых пронзительных – волхвица Степанида Максимовна, профессиональная плакальщица; еще один замечательный образ – старик Иван Тимофеевич Рябинин, сын знаменитого Рябина, у которого записывал былины Гильфердинг.

Книга была замечена и имела успех (в том числе и денежный, Пришвин получил шестьсот рублей золотыми), и эта первая литературная победа значила для вчерашнего неудачника необыкновенно много. Но успех надо было закреплять, двигаться вперед и постоянно зарабатывать на жизнь, содержать семью; начинающий литератор находился в положении крайне неопределенном, но действовал осмотрительно и умело, вырабатывая определенную писательскую стратегию.

Уже в следующей своей книге «За волшебным колобком» (для писателя вторая книга зачастую важнее первой именно потому, что она подчеркивает, доказывает неслучайность его занятия литературным трудом) автор поторопился развить успех первой книги. Перед нами теперь не просто впечатление путешествующего по Северу горожанина, петербуржца, но обращение к своему детству, к той поре, когда елецкий гимназист убегал в Азию. Это и возвращение блудного сына к природе, и достижение ребяческой мечты, и соединение того разрыва, который с ним приключился в отроческие годы и мучил всю жизнь. Вот почему художник должен быть простодушен, как дитя, вот что вызревало в Пришвине долгие годы отрочества и затянувшейся молодости, медленно в нем перегорало – реальность сочеталась со сказкой и завязывались все узлы. Но при этом Пришвин очевидно

торопился включить себя в литературную ситуацию XX века, так чтобы написанное оказывалось поводом для повествования об ищущей личности, о хождении интеллигента в народ, и не случайно к главе, посвященной Соловецкому монастырю, дается эпиграф из К. Бальмонта: «Будем как солнце! Забудем о том, кто нас ведет по пути золотому». И все же, если сравнить изображение северной обители в двух пришвинских книгах, можно увидеть огромную разницу. В первой Соловецкий монастырь – прародина Выговской пустыни, их связь для писателя несомненна и органична, как органична связь между старообрядческой культурой и жизнью людей в птичьем kraю. Во второй описание монастыря превращается в карикатуру. Северная природа как бы «не доразвилась до состояния греха» – замечательно сказано, но дальше читаем о самой обители: «Это гроб, и все эти озера, зеленые ели, весь этот дивный пейзаж – не что иное, как серебряные ручки к черной, мрачной гробнице». Белокаменный Соловецкий монастырь менее всего похож на гроб, скорее уж – на пушкинский сказочный остров из «Сказки о царе Салтане», вдруг выросший среди морских волн, но, кажется, здесь на впечатление путешественника давит груз книжной культуры, чужой мысли, которой он успел набраться за несколько петербургских лет и от которой впоследствии пытался освободиться. И прежде всего – мысли розановской с его яростным неприятием монашества. Именно вслед за Розановым путешествующий Пришвин говорил в повести о «двуих богах» – светлом и темном: «Черный» Бог-Отец – это «какой-то особенный, мрачный бог», «беспощадный, жестокий», он «лежит темным бременем» и изображен на стариных черных иконах, молиться ему заставляли автора в детстве, его образ появляется на первых страницах книги и ассоциируется с соловецкими богомольцами, которым писатель противопоставляет себя и свой путь за волшебным колобком: «Эти смиренные люди совсем и не могут поднять своей головы и посмотреть на него, они не видят ни света, ни солнца, ни зеленой травы и лесов, а только в страхе стелются по своей родной земле...» «Если я пойду за ними, думаю, налево, то приду не на Север за Полярный круг, а в родную деревеньку в черноземной России, я приду в ее самую глубину и вперед знаю, чем это кончится. Я увижу черную икону с красным огоньком, на которую молятся наши крестьяне. На этой таинственной и страшной иконе нет лика. Кажется, стоит показаться на ней хоть каким-нибудь очертаниям, как исчезнет обаяние, исчезнет вся притягательная сила. Но лик не показывается, и все идут туда, покорные, к этому черному сердцу России. Почему это кажется мне, что на этой иконе написан не Бог-Сын, милосердный и всепрощающий, но Бог-Отец, беспощадно посылающий грешников

в адский огонь? Может быть, потому так, что кроткий огонек лампады на черной безликой иконе всегда отражается красным, беспреклонным, зловещим пламенем?»

Черноземная деревенька не случайна, это – Хрущево, елецкая родина, от которой он вторично убежал, и именно она связана с черными досками.

И есть другой бог, радостный, солнечный, знакомый автору-охотнику, который «сам приходит и веселит» и которого не нужно называть (черного назвать страшно). Это «зеленый, сияющий Бог», «Бог счастья, надежды, жизни», Бог, зовущий к творчеству, связанный с миром природы. Эти два образа протянутся через долгие годы его творческого пути.

Конечно же, декадентскими или розановскими (Розанов все же не декадент, но Пришвин вспоминал всех литературных кумиров в одну кучу) поисками содержание первых пришвинских книг не исчерпывается, и в «Колобке» немало замечательных страниц – чего стоит, например, описание лопарей, невольно заставляющее вспомнить творчество Платонова, и то родственное внимание, которое провозглашал Пришвин основой своего творчества. Но Пришвин не стал Максимовым или постМаксимовым, он не сделался ни этнографом, ни бытописателем, в творческих поисках его влечя явно другой интерес, и волшебный колобок его катился совсем в иную сторону...

Прошло много лет, и в 1933 году, когда Пришвину исполнилось 60 лет, он снова отправился в те края, где путешествовал четверть века назад, но где теперь жизнь так переменилась: в kraю, по которому проходили его ранние дороги, заканчивали строить «дорогу осудареву» – Беломорско-Балтийский канал имени И. В. Сталина. Попасть в эти места теперь по доброй воле было делом невозможным, вопрос о поездке могли решить только в ОГПУ, и каким образом Пришвин связался с этой организацией и почему его поездка происходила по индивидуальному плану, а не вместе со всем писательским коллективом, была ли на то его воля или так сложились обстоятельства, остается только гадать. Некоторый свет проливает статья из стенгазеты «Совписа», где Пришвин объяснил идею своего путешествия следующим образом: «Вместе с возвращением к лит. творчеству нового времени я задумал пересмотреть все написанное мной, начиная с очерков севера, и начать издание своих сочинений в свете самокритики. С этим предложением я обратился в Оргкомитет (скорее всего по подготовке Первого Всесоюзного съезда писателей. – А. В.) и просил оказать мне содействие в поездке на Белом. канал, в Хибины, Новострой и т. д. Повторные мои заявления оставались без ответа до тех пор, пока решающее место в Оргкомите не занял т. Фадеев. Тогда Оргкомитет обратился к ГИХЛу (Государственное издательство

художественной литературы. – *A. B.*) и в ОГПУ, к первому с предложением издать мои северные книги, ко второму – оказать помощь в поездке на места. После поездки на север я принял участие в создании коллективного труда писателей о Беломорском канале, переработал и сдал в печать свою первую книгу “В краю непуганых птиц”, через короткое время я сдал другую книгу о севере – “Колобок”» [1; 308–309].

Из этой поездки Пришвин привез два очерка, одному из которых дал название «Отцы и дети (Онего-Беломорский край)», а другому – «Соловки». Оба текста издавались мало (в «Красной нови» и в первом томе собрания сочинений 1935–1939 годов, где автор включил «Отцов и детей» в текст «В краю непуганых птиц», а второй прибавил к «Колобку»), но новые произведения не были включены в известный сборник «Канал имени Сталина», изданный в Москве в 1934 году, для которого писались. Пришвин был уязвлен, но записал в Дневнике: «Шумяцкий поздравлял меня с тем, что я там отсутствую: вышла столь ничтожная вещь!» [8; 65]. Ни в шеститомное 1956–1957 годов, ни в восьмитомное 1982–1986 годов издание собрания сочинений Пришвина, ни в многочисленные книги избранных произведений писателя 1950–80-х годов эти очерки не входили и на сегодняшний день стали едва ли не раритетом.

Пришвин писал новые очерки, имея в виду собственную теоретическую установку освоения материала и «с тревогой, что не осилишь прошлого, не найдешь в себе достаточно уважительного внимания к новому, чтобы выбрать и понять в прошлом живые творческие силы, это же новое и создавшие» [5; Т. 1; 27]. Таким образом, писатель намеревался связать две эпохи, причем связующим звеном выступала не столько преображенная человеческим трудом земля и ее преобразователи (или жертвы этого преобразования), сколько личность писателя, и поэтому в терминах строительства гидроузоружий он описывал снова свой путь и вспоминал первую книгу, некогда здесь задуманную: «Первая моя книга была первым шлюзом моего литературного канала, ведущего на новую родину» [5; Т. 1; 28]. Самая большая тема описанного им строительства – использование рабского труда – получила на страницах новых «Края» и «Колобка» такое освещение, что, читая сегодня иные из пришвинских строк, диву даешься, как могли их опубликовать и ничего ему за это не сделать? Судите сами. Вот едет писатель в поезде и ведет (излюбленный его очерковый прием) разговор с попутчиками: «С большим сочувствием я обратился к своему соседу, грустному железнодорожному старику:

– Этот край – ваша родина, или, может быть, вы здесь нашли себе родину?

– Мне дали катушку, – ответил старик.

Я не понял. Он сказал по-другому:

– Червонец.

Другой пассажир помолчал, спросил:

– Вы получили катушку через вышку?

Это значило: десять лет взамен высшей меры.

– Нет, – сказал железнодорожный старик, – я получил просто катушку, и мне ее учили за три года моей работы. После того я уже семь лет добровольно работаю.

Что было на это сказать, ведь я только что думал о своей первой утерянной родине и потому постарался утешить старика:

– К лучшему, может быть, потеряли, – сказал я.

– Да, – ответил старик с улыбкой, – в этом роде думают тоже и заключенные урки» [5; Т. 1; 28].

И все... ни комментариев, ни оговорок, ни объяснений – за что дали старику срок, почему так, а не иначе думают урки о потерянной родине, почему он не едет домой, где его семья, – здесь нет всей той тягучей, приторной дидактики, ни обязательного рассказа о прошлой жизни, ни пафоса перевоспитания, которыми наполнен сборник «Канал имени Сталина». Пришвин остался верен себе, написав лишь о том, что видел. «В этом и есть секрет моей долговечности в литературе: я пишу только о том, что сам лично пережил» [10; 159].

Или другой эпизод. По дороге на Соловки, в Кеми, автор описывает хор мальчиков, составленный из соловецких урок, – как будто благое начинание советской власти – но рядом с картиной поющих «Интернационал» мальчиков портрет дирижера: «Старый музыкант, с лицом фавна, такой худой, что рыбы ребра его обозначились даже из-под рубашки». В этих небольших по объему очерках «бесчеловечный» Пришвин возвращался к теме людского всеобщего страдания не раз.

В Дневнике Пришвин скромно написал об обстоятельствах своего путешествия и о том, как оно осуществлялось. Но из очерков можно понять: Пришвина, что называется, непринужденно вели. Когда по дороге на архипелаг писатель попытался пообщаться с командой боксера «Ударник», состоявшей из заключенных, он потерпел горчайшее фиаско. «На вопросы они отвечали дельно и коротко, оставляя внутри себя свою личную жизнь. В виде опыта я заводил речь об их личной жизни, как живется, как что нравится или не нравится; и все они отвечали мне как воспитаннейшие англичане: кажется, очень искренне и с большой готовностью, но в то же время наставляя тебе обеими ладонями в растопырку длинный нос» [4; 37]. Что-то он видел сам, что-то рассказал ему его Вергилий – начальник культурно-воспитательной части по фамилии Гернеш, хотя отношения между писателем и комиссаром не сложились, и Пришвин чувствовал в обращении маленького лагерного начальника с дотошным посетителем то же, что и с вышко-

ленной командой «Ударника» – свою ненужность в этом мире и наставленный нос: «Он очень почитал меня, как известного писателя, тридцать лет тому назад написавшего “Колобок”, книгу о севере, и везде говорил о моем волшебном проводнике, превращающем всякую действительность в сказку, но он глубоко презирал во мне, ныне существующем, живого человека, способного еще что-нибудь написать, и не видел колобка, ведущего меня в этом путешествии» [4; 37].

Пришвин изо всех сил пытался оставаться верным себе и сохранить преемственность творческого пути – не случайно по форме соловецкий очерк, как и посвященная Соловецкому монастырю глава из «Колобка», построены в форме письма к другу. «Дорогой друг! Не хотел бы я быть заключенным, и вовсе не потому, что боялся бы утратить личную свободу, – нет! Я не хотел бы заключение только потому, что едва бы мог найти в себе такую силу, чтобы справиться с чувством личной обиды, мешающей, независимо от себя, уязвленного, следить за движением истории. Я тоже не хотел бы оставаться равнодушным и быть только свидетелем. А вот бы мне очень хотелось принять к сердцу соловецкое дело и творчески продолжить его и просветить ясным сознанием...» [4; 43]. Как и упомянутый в первом «Крае непуганых птиц» Надвоицкий водопад (так сильно изменившийся после строительства Беломорканала): «Узнавал долго, вдруг увидел: черные неподвижные камни, как беззубая покерневшая челюсть... а тогда было, как белые зубы. И так за 30 лет народ русский: то русло покернело... а вода бежит по иному пути» [8; 63]), Соловецкий монастырь для Пришвина – место символичное, своеобразная веха, и он постоянно оглядывался назад, обращался к прошлому – не монастыря, но своей встречи с ним: «Тогда еще Соловки были мне как прошлое моего родного народа, как милая древность с неприятным для меня запахом ладана и постного масла. Тогда в письмах своих к вам я добродушно посмеивался над тем, что для некоторых тогда еще было святыней. Но теперь это прошлое совершенно прошло, и встреча с ним тяжела: тебе хочется трудную жизнь свою кончить песней о здравии, а родные древности требуют, чтобы ты служил им заупокойную» [4; 43].

Служить панихида следовало бы не только по реликвиям. Пришвин видел и безмерное страдание живых. «Север: гонимые матери с младенцами, и все, что мы видели на Соловках, и статуя на канале, и трупы в лесах» [10; 157], – записал он в Дневнике. Сказать о главных узниках острова и строителях лагеря – крестьянах, священниках, монахах, дворянах, офицерах – он не мог, но странным образом перекликаясь на сей раз уже с третьей своей книгой о русских сектантах («У стен града невидимого») при нынешнем далеком от идеализации отношении к бегунам, которые

пополняли число арестованных и жестоко страдали, ибо за отказ выходить на работу почти не получали еды, Пришвин сумел сказать об их трагедии, и щемящие детали реальной лагерной жизни невольно пробивались сквозь ткань волшебного повествования. «И так вышло против всякого желания начальства, что несколько десятков таких людей долго сидели, отказываясь от работы, и не называли своих имен. Они пересидели все сроки, и их охотно бы выпустили, но в том-то и дело, что странникам невозможно было по своим убеждениям открыть свои имена, а начальству невозможно было отпустить на волю безымянных людей» [4; 40]. Об этом он смог написать. О том, что не поверил ни в какую перековку («Можно восхищаться деятельностью нашего правительства в отношении воров, но только нельзя понимать “перековку” в глубоко моральном смысле и реветь, как Горький» [8; 64]); что Беломорканал строили в основном крестьяне, а вся слава отдана уголовникам – нет.

От Соловков у Пришвина осталось такое впечатление: «Я почувствовал Соловки в двух планах: одни Соловки – чисто человеческие – ушли отсюда на Беломорский канал, другие коренятся в местной природе, уйти с места не могут и обещают в будущем что-то новое и нам неизвестное» [4; 40]. Последнее и есть главная идея двух очерков. Пройдут годы, десятилетия, может быть, столетия, забудутся лагерь и страдания тех, кто строил канал, – жизнь на Земле будет радостна и счастлива, «мы увидим небо в алмазах» – вот это имея в виду, и надо писать. Бегство в будущее, в те времена, когда Соловки станут санаторием, – вот была сверхзадача Пришвина, получившая в новых очерках окончательное подтверждение; автор чрезвычайно увлечен об этом размышляет, рассуждает о возможностях северного края, его климате, природе, пейзажах, может быть, ради этого все и было написано, и этой высшей, «книбоковской», целью пытался оправдать свою поездку, но, верно, мы не дожили еще до этих счастливых и безмятежных будущих времен, и пока что первый план для потомков остается важнее, и долго еще читатели будут спрашивать: а что написал он про увиденное в ад? Пришвину было что ответить: внутренняя драматургия его очерков именно на контрасте времен и построена. От прошлого здесь – его собственная литературная история, от будущего – утопия, а от настоящего:

От сумы и тюрьмы
Не отказывайся!
Приходящий, не тужи!
Уходящий, не радуйся!

Приведя эти стихи из нового северного фольклора, словно подступая к будущему «Архипелагу ГУЛАГу» как соборной книге народного страдания, он сопроводил похожую на былинную надпись на камне эпитафию размышлением:

«Многим в вагоне эти стихи оказались не только хорошо знакомыми, но и внутренне очень понятными. Я тоже одобрил это умное чисто восточное приспособление к жестокости жизни и превратностям судьбы. Но потом мысленно составил этот старый тюремный стиль с новой социалистической этикой: “Труд – дело чести, дело славы, дело доблести и геройства”» [5; Т. 1; 29]. И опять – никакого комментария. Даже к автору известного афоризма, украшавшего советские лагеря, странно фамильярное, почти что пренебрежительное отношение: «В шлюзе напротив огромного Сталина притаился удильщик рыбы и, бездельник, в эти новые, строгие государственные воды осмелился спустить свой крючок» [5; Т. 1; 34]. Нахальный удильщик – это сам Пришвин, что подтверждает в тексте разговор с настороженными чекистами. И все же, как бы тонко ни вел писатель свою игру с лагерными начальниками, как бы ни подтрунивал над рыдающим Горьким (одна из главок произведения представляет собой письмо именно к нему), – словом, как веревочка ни вейся, – быть может, это и понимал проницательный формалист В. Б. Шкловский, отказываясь включать Пришвина в сборник, – момент истины настал и для повествователя, когда его поставили на трибуну на митинге строителей: «Мне, жестокому противнику красных ораторских слов, выпала тяжелая доля самому говорить. Но вышло ничего. Я... советовал от своего участка переходить к пониманию всех частей при создании целого и мало-помалу становиться на почву творчества, где нет больших и малых, а всякий на своем месте велик». То, что говорил строителям канала Пришвин или его лирический герой, отражало важные, сокровенные идеи писателя, которые он много лет вынашивал и пытался с их помощью утешить, осмыслить жизнь своих слушателей и стремился выразить свое отношение к самому насущному для себя в этом путешествии с гулаговским мандатом вопросу – «стоило ли распугивать птиц?» («Я не протестую против “завоевания” сил природы, но я хочу, чтобы в завоеванной силе каждый мог бы найти то же самое, что в природе находит человек личный и называет это своей родиной... Родина – это участие моего личного труда в общем деле...») [8; 64]), но слушали-то его измученные, озлобленные люди, разлученные с женами и детьми, потерявшие все, кроме жизни. Сцена эта и вообще очень символична, а в частности в ней отразилась роль Пришвина в советской литературе 1930–40-х годов. Одно дело дурачить писательский пленум, другое – смотреть в лицо советским зэкам. Не зря же вышло, что к главной точке своего путешествия – Надвоицам, где он когда-то ощущил в себе рождение художника, – Пришвин подплывал на корабле под названием «Чекист»: «Мы подплывали теперь на “Чекисте” к центральной

точке, где скрылась линия личной моей жизни, моей свободы с линией необходимости, по которой должна была пойти вся наша русская жизнь». Для него лично она имела свое значение: «Как, правда, тяжело бывало писать в то далекое время: на счастье, не зная, удастся ли вещь; и как страшно было оставаться в пустоте, когда одно уже написано и уже деньги проедены и под новое авансы взяты, и ежедневно из них уходит рубль за рублем, а в голове пусто. <...> Теперь, через тридцать лет профессиональной работы, я управляю своим дарованием, пишу, о чем мне захочется, и так много есть о чем написать, что забота и страх об одном: не ровен час, жизнь оборвется, и не успеешь сказать самого главного» [5; Т. 1; 56]. Последнее звучит для тридцати третьего года очень печально, да и вообще главное, что выразил Пришвин и что прочитывалось не между строк, а в самих этих строках: канал не школа радости, не перековка человека, но полная горя и страдания жестокая жизнь.

Своей новой работой Пришвин доволен не был. «Поездка на Север... по существу, как Дальний Восток, не дала ничего» [8; 65]. Три года спустя, в 1937-м, он оценил путешествие иначе: «Вот мое достижение в эту поездку: я представил себе, что я сам на канал попал, хотя бы в культурно-просветительской части работал» [8; 67]. Однако тогда, по горячим следам, не в стенгазету, но в Дневник 1933 года записал о том, что «хорошо бы на работе своей о канале написать: “Добрый папаша, к чему в обаянии...”» [8; 65]. Однако прямо не написал. Сам себя спрашивая почему, Пришвин находил такой ответ: «И я бы написал, но мне это нельзя теперь, и я пишу так, что Ванюшка остается в обаянии. И так надо, так хорошо, что я не могу: Ванюшка должен расти в “обаянии”, правда извне пересиливает мою личную правду, превращая ее в балласт: я сбрасываю этот балласт и через это действительно делаюсь “сам” и выше лечу... (приспособление)?» [8; 65]. А дальше следовали строки из второй части «Фауста»:

Ночью в жертву человека
Приносились, стон стоял,
Мчались огненные реки,
Утром был готов канал.

А потом прошло еще 12 лет, и летом 1945 года Пришвин написал в Дневнике: «Моя идея всего советского времени – это преодоление всего личного в оценке современности. Душу воротит от жизни, но не оттого ли воротит ее, что жизнь не такая, как тебе лично хочется?» [8; 73] – и запись эта имела прямое отношение и к роману «Осударева дорога», работу над которым он продолжил сразу после «Кладовой солнца», а если быть более точным, то после неудачи с «Повестью нашего времени»: «Может быть, в этот раз, наконец, возьмусь и осилю? Тема о едином человеке: всем хочется жить по-своему, а надо, как надо:

всех сколотить в одного» [7; Т. 8; 453]. Таким образом, случайно написанная сказка-быль оказалась лишь временным явлением, отдохновением на трудном пути писателя к созданию романа, и снова топил, уводил его под воду безумный, помрачающий ум и душу замысел. Снова бился он в тисках между индивидуальным и общественным («Несколько лет я в раздумье жил между “надо” и “хочется”, и в последнее время долго жил в оправдание “надо”. В этом направлении я и “Царя” писал: показать “необходимость” природы» [7; Т. 8; 501]; «“Хочется” и “надо” (свобода воли и долг, личность и общество) – это предмет размышления всей философии, и эта “тема” забивала каменным обломком мой поэтический путь» [7; Т. 8; 543]), но теперь, обогащенная за годы войны религиозным содержанием, мысль искала еще более философского, библейского видения «пушкинской» проблемы, щедро мешая христианство с коммунизмом: «Бог Иова есть тот же Медный всадник, а Иов – Евгений. “Да умирился же с тобой” возможно лишь в признании Евгением за действиями Петра высшей силы, в чувстве страха Божия» [8; 73], – размышлял Пришвин, по мере работы над «Осударевой дорогой» все более убеждаясь в высшей, едва ли не божественной правоте содеянного большевиками дела и беря на себя роль защищать не столько их противников или пострадавших от них людей, сколько их самих и находить оправдание большевизму как историческому и метаисторическому явлению. Это была для него, во все времена остававшегося очень искренним человеком, невероятно сложная задача. «Русский народ победил Гитлера, сделал большевиков своим орудием в борьбе, и так большевики стали народом» [12; 111].

Теперь, в свете победы, Пришвин был склонен рассматривать русскую революцию, о которой оставил столько горьких строк в период ее свершения, «как заслуженное, жестокое, необходимое возмездие и вместе с тем суровую школу для грядущего возрождения России» [3; 182]. Последние слова записаны в редакции Валерии Дмитриевны Пришвиной, которая, защищая мужа, объясняла позицию Михаила Михайловича тем, что больше всего писатель боялся быть «односторонним», «партийным» и всегда стремился «найти некую надисторическую объективность, такую высоту, с которой можно было бы охватить весь кругозор, весь процесс совершающегося единым взглядом и оттуда уловить его смысл» [3; 182]. Самое горькое противоречие эпохи, каким виделось оно Пришвину в его романе («Начальная мысль была именно в оправдании насилия» [3; 185–186]), решалось Пришвиным, по мнению его жены, в «идее, до сих пор не понятой и не принятой миром: это глубочайшая тайна христианства о силе любви к врагу, – идея всепрощения – единственная, еще

не реализованная в печальной истории человечества. <...> Мировая нравственная мысль еще не возвысилась до ее понимания. В ее свете живут только отдельные личности, возвышающиеся как звезды над общим полем людей, это святые люди, преодолевшие свой индивидуализм, свою самость, свое маленькое “я”» [3; 185].

Если считать создателя «Осударевой дороги», который себя «не отличал от каналаармейца и все время как заключенный чувствовал себя, но вел себя как свободный, изо дня в день приближаясь к сознанию необходимости принуждения всего русского человека во всей совокупности...» [3; 187], страдавшего за ту «необходимую ложь, которая выходила из-под руки Сталина и Ленина» [3; 190], отдельной святой личностью, может быть, и так... Но только в те давно прошедшие уже времена оказалось, что своим романом Пришвин – редкий случай – не угодил никому – ни врагам, ни друзьям своим. «Осударева дорога» при жизни автора напечатана не была и не была понята немногочисленными читателями в рукописи. Пришвин, правда, этого и сам сильно опасался еще до того, как отдал свое детище в чужие руки: «Раньше боялся удара с одной стороны, и теперь боюсь страшного, и с другой, неофициальной, с народной, где я призван понастоящему... Тревожит только таящаяся в недрах народной души оценка, от которой никуда не уйдешь, если сфальшивил» [8; 78].

Удары посыпались со всех сторон. Еще когда в начале 1947 года писателю предложили выступить с чтением новой вещи в Литературном музее, он «чувствовал, что все они опасаются, не примажусь ли я к большевикам» [8; 74]. Еще определенное было тогдашнее суждение о романе Валерии Дмитриевны, которая, как известно, хлебнула из гулаговского чана: «Ляля вчера высказала мысль, что роман мой затянулся на столько лет и поглотил меня, потому что была порочность в его замысле: порочность чувства примирения» [8; 77]. Пришвин не себя виноватым считал, а жизнь, которая «не дает свободы писателю: жизнь не вызрела для ее изображения...» [8; 79]. И все же сделал одну вещь очень важную, хотя и сам понимал всю ее невозможность в смысле публикации – изменил эпиграф и тем самым отчасти сдвинул коммунистическую концепцию романа: «Аще сниду во ад, и Ты тамо еси» («Этот эпиграф не будет опубликован, но пусть будет как веха в душе» [8; 77]). Однако властям и без этого, отсутствовавшего и подразумеваемого эпиграфа, взятого писателем из 138-го псалма царя Давида, мало не показалось, и судьбу неопубликованного эпиграфа разделил весь роман. Правители вообще предпочитали о Беломорканале не вспоминать, времена перевозок давно миновали, и факт использования в СССР принудительного труда более не афишировался, ибо бросал тень на светлое здание

коммунистического будущего, и оттого можно только гадать, какая наступила на улице Правды растерянность, если не паника, когда осенью 1948 года писатель отвез в «Октябрь» свое новое произведение, идея которого «зрела 65 лет», то есть со дня детского бегства в «Азию».

Главный редактор журнала Панферов, который в конце 1930-х дружески советовал Пришвину не стоять в «стороне» [10; 166], долго автору не звонил, а потом через сотрудника редакции Ильенкова передал требование «сунчтожить труд заключенных» и пожелал, чтобы «может быть, даже, что события были именно не на Беломорском канале» [8; 78], что и было в дальнейшем подтверждено во время обсуждения романа накануне нового, 1949 года в редакции и обесмысливало всю громадную работу, проделанную неудобным писателем. Там, наверху, хотели переписать историю, забыть которую Пришвин был не в силах и которую пытался оправдать, найти разрешение и выход. Все это понимал и сам писатель («Допускаю, что нынешние правящие коммунисты могут быть смущены моим романом и спросить: как же это так вышло, что принудительный труд, укрываемое и переживаемое преступление, может стать предметом восхищения поэта и...»), соглашался заменить мотив принуждения вербовкой («Остается надежда на то, что мысль о трудовом воспитании заполнит пустоты и оправдает произведение. А великолепное мастерство даст легкость чтению» [8; 79–80]), но все равно это было никому не нужно, и так получилось, что не в охотничих и не в детских рассказах, а в самом что ни на есть злободневном романе с общественным пафосом, к чему призывала его когда-то настырная рапповская критика, разошлись старейший писатель, мечтавший послужить своему народу, государству, настоящему социализму и будущему коммунизму, и само государство в лице его литературных чиновников.

Это может показаться поразительным, но в поздний период жизни, когда Пришвин «всем сердцем, всем телом и всем сознанием» находился ближе чем когда бы то ни было к власти и подобно герою «Корабельной чаши» Мануйле был готов все простить и вступить в большой советский колхоз, издательская судьба его произведений складывалась особенно тяжело. И дело здесь касалось не только «Осударевой дороги». В послевоенные годы Пришвин, как и официальная советская идеология, проповедовал грядущий коммунизм. Только любовь эта и понимание коммунизма были у писателя и центрального комитета партии слишком различными. Всякие попытки монополизации светлого будущего вызывали у власти жгучее чувство соперничества. «Сегодня выборы! Какой-то садизм! Чем больше страдают теперь живые люди, тем больше афоризмов о счастье будущего человека», – писал

Пришвин и тут же предлагал свое, пришвинское видение этого будущего: «В новой вещи своей я хочу дать путь к коммунизму не тот, каким дают его доктринеры, а каким я иду к нему, моя работа “коммунистическая по содержанию и моя собственная по форме”, и такая моя, чтобы умный человек справа не подозревал меня в подхалимстве» [8; 77]. Подхалимства и в самом деле не было никакого, была вера в «коммунизм, который мы все носим в своем естестве», но только вера эта никак не укладывалась в прокрустово ложе советской идеологии. Советская система отличалась во все времена, а при позднем Сталине особенно, строгой иерархичностью, и нарушение этой иерархии, пусть даже с самыми благими намерениями, каралось строже и больше любой аполитичности и бегства в Берендейво царство.

Ахматова когда-то назвала «Доктора Живаго» гениальной неудачей. «Осудареву дорогу», при всей ее невезучести, гениальной не назовешь ни с какой точки зрения. Скорее наоборот, этот роман оставляет впечатление болезненного провала. При чтении его не очень понимаешь, к чему был весь этот многолетний сыр-бор о бедном Евгении и Медном Всаднике, если в романе первого (Евгения) попросту нет, а есть галерея угодивших на строительство канала уголовников и масса неизвестно за что попавших тысяч жителей земли, о которых вообще ничего не говорится, а что касается второго (Медного Всадника), то в его роли выступает вовсе не грозный, не величественный, а какой-то ходульный начальник строительства Сутулов, который, конечно, имеет власть принять и «бросить в лес тысячу человек» или командовать операцией по ликвидации прорыва воды во время весеннего разлива, отправляя эту тысячу на гибель в ледяную воду, но по большому счету настолько весь выдуман и неестественен, что вызывает недоумение, неловкость и жалость (а между тем Пришвин-то стремился – страшно вымолвить – к тому, что «Сутулов – это Максим Максимыч в форме чекиста» [7; Т. 8; 546]). Столь же недостоверен образ главного героя – Зуйка. Формально юноше семнадцать лет, но психические реакции у него как у двенадцатилетнего в лучшем случае мальчика (не зря в одном месте автор называет его маленьким человечком), этакого недоросля, только без Митрофанушкиного здравомыслия и уж тем более без скромного обаяния Митраши из «Кладовой солнца», хотя и тут замысел у Пришвина был интересен: «обрисовать дикую застенчивость, староверскую особенную гордость (аристократический демократизм)» [6; Т. 6; 237].

Из героев по-настоящему великолепен в этом романе оказался только старый бродяга Куприяныч, еще одно авторское альтер эgo, он же пузатый и круглый волшебник Берендей, который при поступлении в лагерь обещал хорошо

трудиться на строительстве, но просил Уланову не записывать его в учетную книгу, спас сотню человек от гибели, щедро и коварно подарив авторство этого подвига глупому Зуйку, и наконец соблазнил неразумное дите совершить побег в лес, в царство бесчеловечности, туда, где нет принуждения и власти, где все – цари, а затем, весенним утром, описание которого напоминает финал «Кашеевой цепи», обратился в гугуя, оставив мальчика один на один с пробуждающейся природой. Страницы этого бегства были по-пришвински хороши, а образ Берендея создавал своеобразный двойной фокус и отbrasывал спасительную лесную тень на весь безжалостный «новый свет», предвосхищая тем самым тему будущей «Корабельной чащи» и «Зеркала человека», но все это было несколько вторично по отношению к более ранним вещам.

Но если верно, что каждое произведение нужно судить по тем законам, которые установлены для него самим автором, то упреки в малохудожественности и схематизме просто бессмысленны. «Осударева дорога» – это роман идеологический, в гораздо большей степени, чем, например, «Что делать?», «Мать», «Как заcalaлась сталь» и т. п., это, быть может, вообще один из самых идеологических, идеологизированных романов во всей русской литературе. Психология, пластичность, поступки героев, их конфликты, язык, мысли, чувства – все, в ущерб художеству, подчинено идеям, носителями которых оказываются персонажи, и эти идеи заботили автора больше всего. Только идея столпилась так много, что роман оказался ими перегружен и утонул, как плавучий остров-ковчег, на котором странствовал по весеннему разливу Зук с живностью. Пришвин попытался вложить в эти двести пятьдесят страниц все, о чем передумал за без малого восемьдесят лет жизни. Кажется странным, что легконогий странник с ясными и зоркими глазами вместо сердца, как окрестила его когда-то Гиппиус, вообще мог за подобную затею взяться, но тем не менее именно это и произошло. Он пытался спасти свой замысел, объявив написанное сначала «педагогической поэмой на материале строительства Беломорского канала» [1; 309], а потом сказкой, как когда-то объявлял все прежнее очерками, говорил о том, что «сказка – это связь приходящих с уходящими»; «сказки мои – это могильные холмы, в которые я закладываю сокровища своей личности»; «в сказке благополучный конец есть утверждение гармонической минуты человеческой жизни, как высшая ценность. Сказка – это выход из трагедии», но в результате в который раз написал книгу не о строительстве канала и не о погибшем мире староверов, но о самом себе и одновременно с этим себе противоречивую книгу. В сущности, судьба Зуйка в романе – это проекция всей пришвинской жизни: конфликт

со Старшими, обида, уход в лес, трагедия и счастье одинокой жизни, чудодейственное спасение и возвращение к людям – все это – зеркало человека, но только сильно выгнутое, искривленное, пусть даже сказочное, отображающее в упрощенном виде. Пришвин шел на адаптацию сознательно, он приносил всю сложность своего пути в жертву читателю, не желая повторения обеих легких мертвым грузом в его архиве «Мирских чащ», и старался написать вещь совершенно легальную, проходную и доступную, но как художник совершил насилие даже не над своим романом, его героями, их прообразами и самой действительностью – а, что было для него страшнее всего, над самим собой, он оволосил себя, и вот этого произвела художественное слово, художественная правда ему не простили и отозвались фальшью.

Но в то же время это неслучайная и знаковая книга. Это одновременно горький и неизбежный этап пришвинской судьбы, этап почти что вечный, замыкающий его творческий путь и его личное, им самим признанное поражение («Эта книга мне показалась картиной моей борьбы и моего поражения» [12; 170]; «Осударева дорога, к счастью не напечатанная, есть картина совершенного посрамления автора в его попытке сомкнуть прошлое с настоящим» [6; Т. 6; 201]), в истории русской литературы и в истории нашей общественной мысли пришвинский «сказочный роман» занимает поистине выдающееся, хотя и не оцененное место. Заслуга автора «Осударевой дороги» оказалась не в том тексте, который он в конце концов породил, и даже не в сопутствующих ему чрезвычайно противоречивых и дремучих «человеческих» лесах, где заблудилась в назидание его последователям душа русского государственника, а в том, что Пришвин едва ли не первый в русской литературе назвал Великую Тему. Обозначил ее. Дал понять, что никуда от этой Темы не уйти, не забыть, не перешагнуть, не перескочить и не объехать, как не смог избежать ее он, и литература еще вернется к ней.

Проблему «Осударевой дороги», проблему уничтожения русского и не только русского народа большевиками, идею, которую Пришвин вложил в уста «конюшни», отбросов зэковского мира, доходяг, как сказал бы современный, искушенный в лагерной литературе читатель, – «Не канал цель легавых, а ненависть к свободному, как они, человеку», а от уголовников она перекинулась и мужикам: «Даже привычные к трудной земляной работе смоленские грабари начали склоняться к тому, что канал – это придумка, это предлог, чтобы замучить и покончить с человеком свободным... – Канал – это фикция», тему эту раскрыл, решил и ответил Пришвину и как художник, и как гражданин через два десятка лет после мучительного пришвинского труда Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГе»,

и особенно очевидно этот ответ обнаружился в главах, касавшихся строительства канала.

Однако удивительна не только эта все же очевидная связь. «Осударева дорога» предстоит и перекликается с еще одним замечательным произведением русской литературы второй половины XX века.

« – Мы запрем ваш падун.

– Падун запереть?!

– Запрем падун. Вода подымется, и озеро станет глубоким, и по нем пойдут морские корабли.

– Сколько дней в году, – сказал Мироныч, – столько на озере островов, и на них всех есть пожни, есть нивы, деревни, люди живут. Что вы с людьми делать будете?

– Мы за большое дело взялись: лес рубят – щепки летят. Но все-таки мы не бросим этих людей. В три раза разольется озеро, старые острова будут залиты, новые объявитя, и новые станут берега, и старые звери придут напиться новой воды. Вот мы туда с островов и переселим людей» [6; Т. 6; 125].

Я не думаю, что В. Распутин диалогически обращался к «Осударевой дороге», когда писал «Прощание с Матерой», да и вообще не уверен в том, что он эту книгу читал (так же как не уверен, что читал ее А. Солженицын), но все же и тему гибели старого мира, его затопления, и плача по этому миру первым наметил Пришвин, и даже старуха, остающаяся вопреки всему на острове дожидаться конца света и готовая в этих водах погибнуть, была сначала написана – Пришвиным. «Перед нею была освещенная верхним огоньком широкая и опрятная лестница, вся устланная новыми чистыми половицами-дорожками. На маленьких лестничных окнах висели белоснежные занавески, убранные вверху разноцветными бумажными цветами. Так убирают у староверов лестницы только перед самыми большими праздниками или в ожидании редкого, самого желанного гостя, и в особенности, когда в доме свадьба или ждут жениха» [13].

Так мыла перед затоплением Матеры свою избу и старуха Дарья...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Статья любезно предоставлена журналу А. Н. Варламовым. Полностью данный текст опубликован в серии «Жизнь замечательных людей»: Пришвин / Алексей Варламов. М.: Молодая гвардия, 2008. 548 с.

² Фрагменты из художественных книг М. М. Пришвина цитируются по изданиям [6], [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гибет Е. Михаил Пришвин рапортует XVII съезду // Вопросы литературы. 1977. № 8. С. 308–309.
- Иванов-Разумник. Великий пан // Творчество и критика. О Культурной традиции. Петербург: Эпоха, 1922. С. 24–48.
- Михаил Михайлович Пришвин // Из Русской думы. М.: Роман-газета, 1995. С. 175–194.
- Пришвин М. М. Соловки // Красная новь. 1934. № 2. С. 34–46.
- Пришвин М. М. Собр. соч.: В 4 т. М.: Худож. лит., 1935–1939.
- Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. М.: ГИХЛ, 1956–1957.
- Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. М.: Худож. лит., 1982–1986.
- Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». Из дневников 1931–1952 гг. // Наше наследие. 1990. № 2. С. 58–83.
- Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. 1914–1917 гг. М.: Московский рабочий, 1991. 432 с.
- Пришвин М. М. Дневник 1937 года // Октябрь. 1995. № 9. С. 155–171.
- Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. 1920–1922 гг. М.: Московский рабочий, 1995. 334 с.
- Пришина В. Д. Круг жизни. Очерки о М. М. Пришвине. М.: Худож. лит., 1981. 239 с.
- Распутин В. Г. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. Иркутск: Сапронов, 2007. 439 с.